

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

ДЕМЬЯНКОВ В. З.

ТЕОРИЯ ЯЗЫКА И ДИНАМИКА АМЕРИКАНСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА «LANGUAGE» (К 65-летию основания журнала)

В последние годы мы все чаще говорим о «человеческом факторе» в языке. Но всегда ли мы руководствуемся этим принципом при оценке различных лингвистических теорий наших коллег по науке, как соотечественников, так и зарубежных ученых? Критически оценивая их исследования, не слишком ли часто мы забываем, что критика — не только и не столько повод найти просчеты в чужой теории, но еще и способ выявить все позитивное в ней на общее благо? Не следует забывать, что само занятие наукой, особенно гуманитарной, — эксперимент исследователя над самим собой, а следовательно, предполагает значительную долю самоотверженности. Постараемся поэтому по возможности более глубоко понять теоретиков прошлого и настоящего, не навешивая обидных ярлыков. Не будем забывать, что непонятое нами раньше мы нередко впоследствии принимаем, — но только в лучшем случае с запоздалой благодарностью и с раскаянием в своей непонятливости. В худшем случае и чаще — без благодарности и слишком поздно.

Предметом настоящего обзора является история одного из наиболее авторитетных журналов — «Language» — органа «Лингвистического общества Америки». Мы постараемся проследить смену тенденций в развитии лингвистической науки, отраженную на страницах «Language».

С момента выхода первого номера журнала можно наметить три этапа.

1) 1925 — середина 1940-х годов — подготовительный период. Наиболее представительными публикациями были тогда статьи по частным вопросам индоевропейского, семито-хамитского и финно-угорского языкознания. Так, практически каждый год на страницах журнала можно было встретить несколько крупных публикаций по исторической грамматике хеттского, древнегреческого, романских и германских языков. Эти статьи, как правило, не претендовали на решение общетеоретических проблем, а были нацелены на устранение «белых пятен» с карты знаний о конкретных языках мира. По нашим подсчетам, среднегодовое количество публикаций, затрагивающих проблемы общей теории, методики и методологии языкознания, равняется в этот период трем.

2) С середины 1940-х до середины 1960-х годов — «методический» или даже «методологический период». Индекс теоретических исследований,

в которых решается, как правило, та или иная задача методики лингвистического анализа, удваивается, равняясь теперь примерно шести статьям в год. Резко сократилось число публикаций по древним языкам, преобладающим материалом стали новые языки.

3) С середины 1960-х годов по настоящее время — «теоретизирующий период». Индекс теоретических работ (одновременно с увеличением объема журнала) увеличивается и равняется примерно двадцати статьям в год¹. Пик теоретичности приходится на середину семидесятых годов.

Прежде чем перейти к конкретным проблемам, связанным с нашей темой, сделаем еще несколько предварительных замечаний, с тем чтобы устранить возможные недоразумения.

«Language» — журнал-долгожитель, обладающий давним авторитетом и популярностью в лингвистических кругах. При всех перипетиях своего развития он очень хорошо отражает уровень науки в каждый из названных периодов². Не будем лукавить: уровень теоретической лингвистики в США очень высок, и это — не результат какого-то рывка последних лет, а следствие очень большой, продолжительной и ничем не прерывавшейся научной и организационной работы. Наблюдая за результатами этой работы из года в год, мы констатируем смелость научного интеллекта, а не просто большие достижения американских лингвистов. Лингвистическая теория принадлежит всем лингвистам мира, и большая заслуга журнала «Language» состоит в ее постоянном углублении.

История журнала как жанр, естественно, не самоцель и не исчерпывает всей проблематики в рассмотрении форм науки³. В данном обзоре мы выбрали комплексный ракурс: нас интересовала содержательная сторона в смене тенденций, гипотез, теорий, взглядов на язык⁴. Основным материалом были все номера журнала с 1925 по 1988 годы за исключением нескольких номеров, отсутствующих в библиотеках СССР. Из всего проработанного материала были выделены около 590 публикаций (как правило, оригинальные статьи), затрагивающих общезначимые проблемы лингвистической теории. При этом мы ограничились только наиболее общими направлениями теоретического языкознания, не затрагивая проблем истории и изменения языка, конкретных методов синтаксического, фонологического, семантического и морфологического анализа, теории лексикона, модели языкового варьирования, анализа речевого взаимодействия и мн. др. Проблемы типологии языков и универсалий в данной работе были прослежены только пунктирно: стремясь к выявлению теоретической канвы журнала «Language», мы были вынуждены пожертвовать обзором конкретных достижений в типологизировании и в описании синтаксических, фонологических, морфологических и лексических обобщений, обильно представленных на страницах журнала. Сосредоточившись на технике теоретизирования, прекрасные образцы которой мы находим на протяжении всей истории журнала, мы оставляем на будущее

¹ Среди этих статей — и критический анализ той или иной концепции. Очень редко критика была «разгромной». Это отражало (в течение 22 лет) как общую установку журнала, так и личную позицию главного редактора — У. Брайта, только в 1987 г. ушедшего в отставку.

² В последнее время журнал «Language» демонстрирует и высокий уровень технологической оснащенности науки — в частности, использование компьютерной техники при исследовании материала и при подготовке его к печати.

³ Об источниках историографии лингвистики см. в [1].

⁴ Иначе говоря, речь идет о тех моментах, которые в своей совокупности могут характеризовать ту или иную «парадигму», или «философию языка», в смысле, очерченном в работе [2].

описание и результаты техники типологизирования, богатой, разнообразной и очень характерной особенно для последних лет.

Естественно, что рассматривать эти проблемы «в вакууме», вне контекста публикаций соответствующего времени или вне рамок сегодняшнего языкознания не только бессмысленно, но и нереально: ретроспектива всегда — осознанно или неосознанно для историка — опирается на интересы сегодняшнего дня, как в выборе актуального, так и в расстановке акцентов. Поэтому мы обычно отмечаем и «фоновые» мнения конкретного времени, и сегодняшние представления. Ввиду ограниченности объема журнальной статьи, ниже будут отражены только некоторые из общелингвистических тем.

1. «Лингвистическое общество Америки»

В своей знаменитой статье, открывающей первый номер журнала, Л. Блумфилд писал: «Исследователям языка нет нужды спрашивать: „Для чего нужно Лингвистическое общество?“ Этот вопрос задают многие нелингвисты. ... Непосредственно ответить на этот вопрос можно так: естественно, мы стремимся получить возможность встречаться и общаться друг с другом. В нашей стране есть целое поколение ученых, так и не познакомившихся друг с другом лично; впервые они смогли увидеть друг друга только на нашей первой встрече 28 декабря» [3, с. 1]. Но главной причиной создания Лингвистического общества, по мнению Л. Блумфилда, был определенный уровень науки о языке; именно для поддержания этого уровня и необходимо сотрудничество лингвистов; тем самым можно надеяться на создание «профессионального сознания» [3, с. 5] — коллективного мнения американских исследователей языка.

Через 26 лет после этого Э. Хауген писал: «Даже если согласиться с тем, что американская лингвистика сегодня находится в наиболее процветающем положении за всю историю нашей страны, следует отметить следующее. Рост числа наших лингвистов способствовал какой-то научной обособленности их, с налетом высокомерия, от остального мира, и это вызывает только сожаление у тех, кто, подобно мне, полагает, что наша наука должна оставаться интернациональной. Американским лингвистам становится все труднее читать европейские работы в своей области; лингвисты нового поколения не знают о прежних исследователях, так что мы в некоторой степени утрачиваем связь не только с традициями лингвистической науки, но и с современными учеными за пределами нашей страны. В американских работах по лингвистической теории редко найдешь упоминание трудов Соссюра, Трубецкого или других европейских авторов, — а ведь именно они изобрели инструменты исследования, которыми мы ныне пользуемся. Я не меньше других восхищаюсь Блумфилдом и Сэпиром, однако мне кажется провинциализмом мнение, будто все здоровое в языкознании восходит только к ним» [4]. А еще через 23 года Хауген по случаю пятидесятилетия Общества писал с еще большим сарказмом: «...многие из нас по-прежнему год за годом приходят на собрания, чтобы выслушать малоинтересные сообщения, которые удобнее было бы прочитать дома. Сейчас, когда собрания стали многолюдными и неуправляемыми, — отчего их пришлось разбить на несколько подсекций, — утратились некоторые прежние качества нашего объединения. Лингвистическое общество... стало все больше напоминать биржу труда, а не научный форум. Но, как и прежде, молодые ученые, непосредственно наблюдая выступления старших, могут объединяться против их господства, совершенно не догадываясь,

что повторяют то, что делали эти старшие в своей молодости» [5, с. 619]. Достоинства Общества, тем не менее, несомненны: «оно стимулировало академический рост лингвистической науки в... университетах» [5, с. 620], о чем свидетельствует работа Летних лингвистических институтов, где тысячи лингвистов проходят подготовку к профессиональной деятельности и где перепроверяются все новые идеи. Вот почему, считал Хауген, перейдя пятидесятилетний рубеж, Общество должно способствовать углублению знаний о текущем состоянии науки и развитию старых знаний на основе новых идей [5, с. 621].

Поводом для такой критической оценки, видимо, послужило ощущение, преследовавшее американских лингвистов начиная с 1950-х годов и отмеченное Ф. Ньюмайером [6, с. 1]: иллюзией следует признать, будто фундаментальные проблемы лингвистического анализа уже решены и осталось только договориться о частностях. В те годы бывало представляло, что языковые данные, получаемые лингвистом, можно заложить в компьютер и автоматически получить готовую грамматику [6, с. 2]. Заметим, что в пятидесятые годы основной акцент делался на методическую сторону анализа, а сам анализ — по общему мнению — представлялся только как классификация и упорядочение материала речи. Увы, когда потребовалось осуществить компьютеризацию на деле, практика устроила «холодный душ» для сторонников такого взгляда. И от этого шока лингвисты не оправались по сей день.

Зато в третий из названных выше периодов, в частности, в 1970-е годы, по свидетельству П. Коула [7, с. 563], произошла переоценка ценностей, логически продолжившая интерес к методической стороне. Теперь теоретические проблемы стали расцениваться как более важные, чем проблемы описания конкретного языка, а описание как таковое занимает второстепенное место. Для нового, «теоретизирующего» этапа имелись объективные предпосылки: необходимость достичь лингвистически значимых обобщений, приложимых ко всем языкам, к языку вообще.

2. История языкознания

Позволим себе сначала несколько «фоновых» замечаний. Некоторые исследователи [8] полагают, что каждое поколение языковедов создает свою, каждый раз новую, «историю языкознания», пересматривая взгляды на прошлое, сложившиеся у предшествующего поколения; однако при этом допускается, что имеются такие «инварианты», неизменные части истории языкознания, которые не подвергаются переоценке. Именно они и определяют «физиономию» данной дисциплины. Л. Ельмслев [9] более осторожно предполагал, что лингвистика, как и любая другая наука, периодически переживает классические и критические эпохи. Во время первых отношение к предшественникам более терпимое, имеется линейная передача мер ценностей от одного поколения к другому: не происходит разрушения уже построенного фундамента, а просто одни детали дополняются или безболезненно заменяются другими. В критические, или кризисные, эпохи возможна полная перестройка оснований науки и коренная ломка сложившихся представлений о языке. Однако для такой ломки должны быть определенные предпосылки. Скажем, был такой критический период, когда язык стали рассматривать «как таковой», а не в целях изучения логики, психики человека или памятников истории. В этот период попытались отказаться и от багажа предвзятых мнений, доставшегося в наследство от прежних поколений лингвистов. Однако в любом случае история

языкознания всегда актуальна: «... разрабатываемые ею в разные периоды идеи обновляются и обогащаются вместе с прогрессом совокупного человеческого знания. Источник такой особенности кроется в том, что результаты и выводы наших изысканий прилагаются в конечном счете к человеку, к языковой личности, и это определяет жизненность научных идей всех предшествующих эпох развития лингвистики» [10].

Рассмотрим теперь, как авторы журнала «Language» оценивают чужие достижения в историческом ракурсе. Тем самым мы можем выявить меры ценностей, господствовавшие в тот или иной период, и даже диагностировать (если опереться на гипотезу Ельмслева) критические ситуации в науке о языке.

Так, Р. Холл в статье 1936 г., оценивая лингвистические теории, развивавшиеся в эпоху Ренессанса в Италии, находил следующие «инварианты», созвучные лингвистике нашего столетия: 1) рассмотрение языка как социального явления, 2) признание изменения как существенного момента истории языка, 3) естественнонаучный подход, особенно в отношении фонетических законов [11]. Эти «инварианты», как легко заметить, вполне укладываются в стереотипы американской лингвистики первого из названных выше периодов. Когда же Дж. Ф. Стаал в работе 1962 г. делает попытку реконструировать некоторые из процедур, которые, предположительно, использовал Панини [12], то обнаруживается перенос на далекое прошлое идеалов второго периода существования журнала «Language» — периода поиска методик. Еще более явно это стремление в статье Б. А. ван Ноотена 1967 г., где мы встречаем следующий пассаж, созвучный генеративной лингвистике той поры: «... мы не можем игнорировать то обстоятельство, что грамматика в концепции Панини — это нечто вроде машины, автомата, выбирающего, в соответствии с определенными принципами, те или иные части речи; суть этих принципов — в стремлении достичь самовыражения, опираясь на наличные категории значения. Выбрав эти категории, автомат ищет грамматику для других категорий, которые в свою очередь задают, например, наклонение, лицо или время. Когда же эти грамматические элементы расположены в правильном порядке, их переработкой начинает заниматься морфологическое устройство „машин“, автоматически переводящее их в правильное слово, которое, как кажется грамматисту, можно произнести» [13]. Однако характеристика понятия «правило» у Панини, которое было дано в том же году в работе Дж. Кардона [14], полностью отклоняется от генеративной парадигмы: отмечаются не только позитивные, но и негативные правила (последние запрещают те или иные выражения при определенных условиях, являясь своеобразными фильтрами), а также иерархия общих и специальных правил. Все это отсутствовало в полном объеме в стандартной модели трансформационной порождающей грамматики в то время, но идея подобных усовершенствований уже разрабатывалась в рамках новых моделей.

И вот в 1970 г. Х. Орслефф высказывает открытое возмущение по поводу того, как генеративисты истолковывают историю лингвистических теорий. Он напоминает [15], что нужно не столько стремиться к согласованию идеалов прошлого и настоящего (т. е., в терминах Ельмслева, не только предполагать, что мы находимся в классическом периоде), но и не закрывать глаза на расхождения. Главными критериями адекватности истории являются: 1) хорошее знание конкретных фактов и текстов предшественников и 2) логическая непротиворечивость исторической концепции, не игнорирующая материала, не укладывающегося в прокрустово ложе сегодняшних идеалов (более подробно эти принципы Орслефф демонстри-

рует в своей книге [16]). Острые этой критики было направлено против книги «Картезианская лингвистика» Н. Хомского, появившейся незадолго до этого [17]. В данной же статье автор обвиняет Хомского в вольном истолковании концепций Декарта, Дю Марсе и Локка, а главное, в том, что тот приписывает антиэмпиристскую направленность (созвучную генеративной теории) даже последователям Локка.

Это было проявлением — тогда еще весьма частным — кризиса, возникшего между намечавшимися к тому времени новыми подходами и сложившейся генеративной парадигмой, представители которой уверовали (впрочем, не без оснований) в удобство и гибкость своего формального аппарата, а вместе с тем (но уже с меньшими основаниями) в то, что общие принципы их подхода являются как раз теми вечными «инвариантами», ценность которых всегда была несомненной в лингвистике и в философии языка.

Еще одной иллюстрацией того, как метод подачи фактов истории лингвистики бывает созвучен общей атмосфере (критической или академической, т. е. «классической») в данный момент, может явиться сопоставление высказываний о конкретных ученых как личностях. Так, М. Сводеш в 1939 г. писал: «Интерес Сэпира к антропологии и к психологии полностью вытекал из его интереса к лингвистике. Он рано осмыслил лингвистику как социальную науку, а социальная наука для него была полностью связана с действительностью личности. Он чувствовал, что оторванность науки о языке от социального окружения лишала ее жизненности. Его собственный ум был настолько диалектичен и способен учитывать самые разнообразные факторы ситуации, что неучет этих факторов другими исследователями выводил его из терпения. Сам же он не замыкался в узких рамках и всегда был готов принять во внимание неожиданные аспекты, обладающие эвристической ценностью» [18]. Это было написано в период стабильности. В этой связи интересно сравнить — по духу, а не по существу — воинствующий тон статьи аналогичного жанра, посвященной Л. Блумфилду и написанной в 1949 г. Б. Блохом: «В его длительной борьбе за превращение лингвистики в науку главным врагом был тот образ мыслей, который носит название ментализма» [19, с. 23]. Это уже время начала «методического периода», когда возрастает интерес к почти автоматическим процедурам «обнаружения грамматики». Естественно, утонченный психологизм (в то время — синоним ментализма) был укором для тех, кто во что бы то ни стало стремился представить структуру языка как классификацию элементов, оперирование которыми совершенно не зависит от личностных качеств носителя языка.

Но вот наступает стабилизация, и З. Хэррис пишет о Сэпире — главном представителе ментализма — с глубокой симпатией и уважением: «Величайшим вкладом Сэпира в языкознание и свойством, наиболее характерным для его лингвистической работы, была не процедурная модель, а классифицирование данных» [20, с. 292]. И далее: «Методы Сэпира были, в общем-то, одними и теми же, когда он исследовал язык, культуру и личность. Он может быть назван выдающимся исследователем не только за свой реальный вклад, но и за использованные им методы представления результатов. Его труды нередко являются образцом художественности, ...шедеврами филигранности в решении задачи. ... Три главных рабочих метода Сэпира производили на всех огромное впечатление: его способность использовать неуловимое для получения результатов, наглядность его логики, а также остроумие и критичность в выборе подхода» [20, с. 330]. Это высказывание созвучно той характеристике, которую значительно поз-

же, в период стабильности (но на следующем, «теоретизирующем этапе»), дал Сэпиру М. Силверстайн: «В том, как он формулировал свои мысли, было нечто от бессмертия» [21]. Таким образом, можно отметить, что в начале 1950-х годов острой и нерешенной была именно проблема получения из данных речи процедурным путем нетривиальных выводов о грамматике языка, т. е. фактически проблема моделирования именно той способности, которой в высшей степени обладал Сэпир.

Итак, наибольшую неровность и полемичность в оценке достижений коллег мы наблюдаем на стыке названных периодов; наиболее же академичное отношение — внутри каждого из этих периодов. Во время стабильности теоретикам более свойственно искать поддержку своим воззрениям в глубине веков; кризис же в теоретизировании проявляется как обостренное чувство несходства во взглядах с предшественниками, даже с давно ушедшими представителями науки.

3. Лингвистика как дисциплина

Л. Блумфилд в 1925 г. писал: «Наука о языке, имеющая дело с наиболее базисным и простым из человеческих социальных институтов — это наука о человеке (или наука о духовности, или, как принято было когда-то говорить, моральная наука). ...Методы языкознания напоминают методы естественных наук, и то же можно сказать и о его результатах... Отличается же языкознание от естественных наук тем, что его предмет непосредственно связан с компактными и постоянно меняющимися группами людей, с речевыми коллективами. Таким образом, дополнительно к динамике, изучаемой естественнонаучными методами, языкознание привносит еще и тот разряд изменений, который известен под именем „история“, такое изменение более динамично, а потому и более наглядно, чем биологическое изменение» [3, с. 1—3].

Как бы продолжая эту идею — а она отражала дух времени, — Э. Сэпир в статье 1929 г. связал начало языкознания как науки со сравнительным изучением и реконструированием индоевропейских языков: «В ходе своих углубленных исследований индоевропейских языков лингвисты последовательно развили технику, гораздо более совершенную, чем техника других наук о человеческих организациях» [22, с. 207]. Тем самым языкознание следует признать наиболее подходящим инструментом для изучения явлений культуры [22, с. 210]. Но при этом следует иметь в виду, замечает Сэпир, что лингвистика должна взглянуть на вещи шире, выйти за рамки простого классифицирования и упорядочения данных и постараться понять, чем она может быть полезной для интерпретации человеческого поведения в целом [22, с. 214].

Эти два довольно близких суждения характеризуют взгляд на лингвистику в начале первого, подготовительного периода. В конце же этого периода, в 1942 г., происходит заострение собственно таксономической проблематики в преддверии следующей эпохи — выработки процедур анализа. В это время Ч. Хоккетт писал: «Лингвистика — классифицирующая наука. Исходными для такой науки являются: 1) мир дискурса и 2) критерии, используемые при классифицировании. Выбор и предварительное упорядочение данных определяют область применения анализа; выбор же критериев устанавливает уровень анализа. В лингвистике есть различные области применения анализа..., но при этом два основных уровня — фонологический и грамматический — имеют свои подразделения» [23, с. 3]. Аналитическая процедура — это процесс проб и ошибок, когда

одно приближение сменяется другим. Лингвист «собирает фонологический и грамматический материалы одновременно, хотя больше внимания уделяет то одному, то другому уровню... На некоторых стадиях он может опираться на интуицию, но затем вступают в действие строгие критерии. В конечном итоге возникает возможность адекватной оценки материала. Тогда все зависит от того, что наиболее удобно для данного языка; если исследуемый корпус материала — письменные записи, то сами дефекты фиксации могут предопределить и порядок представления результатов» [23, с. 21].

Но вот наступает второй — «методический» — период, период поиска эффективных методов и строгих процедур. Теперь мы встречаем высказывания о том, что лингвистика — исключительно эмпирическая наука, и именно поэтому она не должна заниматься общими проблемами: «Для лингвиста важно решить, какие проблемы теории являются собственно языковедческими, ответ на которые может быть получен на ее собственной почве» [24, с. 298]. Таким образом, стремление найти надежные процедуры анализа привели к предположению о резкой отграниченности языкознания от других гуманитарных наук и о «самоценности» исследования языка; связи же между психологией неязыкового поведения и языковым материалом, как констатировал в 1953 г. Э. Леннеберг, еще не были вполне проанализированы [25].

Стремление к специализации, а также несомненные достижения в выработке строгих процедур (что, скорее, выявило их ограниченность, чем реально приблизило исследователей к решению задачи процедурного «обнаружения» грамматики языка) создали вокруг языкознания в середине пятидесятих годов ореол очень далеко продвинувшейся в своем развитии, систематичной, точной научной дисциплины: «Ученые, исследующие общество, стремясь к точности формулировок своих теорий, с завистью смотрят на столь точные формулировки в грамматике и в описании экспериментально-фонетических исследований, которыми изобилуют лингвистические журналы; да и сами лингвисты порой начинают верить, что именно они могут указать путь к новой научной революции в понимании поведения человека» [26], — так с иронией писал Р. Лиз в 1957 г., когда все яснее намечались контуры нового кризиса и подготавливалась почва для перехода от «методического» к теоретическому периоду развития языкознания в США.

Но как только такой переход произошел, наступило и осознание взаимосвязанности человеческого фактора и статуса лингвистики, создаваемой человеком. В разгар этого нового периода У. Леманн констатировал, что «... лингвисты слишком мало внимания обращают на то, как исследуемый вопрос получает свое преломление в сознании исследователя. Лингвисты-историки занимались путями развития элементов языка, лингвисты-дескриптивисты — этими же элементами, но взятыми в конкретное время. В отрыве друг от друга эти два аспекта неизбежно приводят к разным интерпретациям одних и тех же явлений» [27]. Таким образом, одноаспектность при создании теории и при разработке процедур анализа — слишком сильное огрубление, когда-то неизбежное, но неоправданное на современном этапе развития науки. Вот почему примерно в это же время М. Халле предупреждал, что в лингвистическом исследовании недостаточно пользоваться раз и навсегда закрепленной процедурой; скорее это исследование напоминает игру в шахматы или альпинизм, когда, выражаясь словами самого М. Халле: «...выучивают несколько элементарных принципов, а затем, наблюдая удачи других в использовании этих принципов, уста-

навливают, как эти принципы должны применяться, и пытаются сами их использовать. ...Но при этом никогда нельзя сказать заранее, что и в дальнейшем эти же принципы будут столь же полезны в приложении к другим задачам» [28].

Однако такой взгляд должен привести к впечатлению, что лингвистика — не наука, а искусство, или техника анализа. В этой связи делались попытки выбрать одну из двух альтернатив: именовать лингвистику наукой (со всеми стандартами последней, в том числе и выделяя «парадигмы» ее развития) или признать ее дисциплиной с особым статусом. У. К. Персивал [29] склонен скорее вообще отказаться от концепции научной парадигмы Куна, чем признать якобы «полунаучный» статус языкознания. Нам же представляется, что именно на теоретическом этапе — в отличие от периода накопления материала и от этапа разработки процедур — деятельность ученых в наибольшей степени близка к художественному творчеству. Поэтому можно, вслед за Ю. С. Степановым, но уточняя положение работы [2] (о параллельном во времени развитии одних и тех же парадигм в языкознании, философии и искусстве), сказать, что такой параллелизм в наибольшей степени проявляется именно в «теоретический» период. Лингвистику, ищущую новые идеи и аналогии, на этом этапе можно сравнить — вслед за Р. Лакофф в определенном отношении с психоанализом: обе дисциплины пользуются интроспекцией при получении своих данных; обе принимают во внимание разнородные факторы, которые только в своей совокупности, а не порознь, сказываются на человеческом поведении; результаты обеих дисциплин могут противоречить обыденным представлениям и имеют исключительно качественный, а не количественный характер. Общим же является и стремление лингвистики и психоанализа понять, почему человеческий разум далеко не всегда оптимально решает свои задачи [30].

Кстати, сопоставление с психоанализом и вообще с психологией не случайно: именно в теоретизирующий период многие ученые стали признавать лингвистику ответвлением когнитивной психологии⁵, пользующейся нелабораторными методами: «Непосредственным объектом исследования являются не люди, а язык, которым они пользуются, — та область объектов (предложений), которые они продуцируют и понимают. Причиной называть лингвистику психологией является то, что из свойств объектов, преобразуемых организмом, вытекают последствия для свойств самого организма. Когда Хомский демонстрирует неадекватность грамматик непосредственно составляющих, он не заглядывает внутрь мозга говорящих и не измеряет время реакции в лаборатории. Он просто наблюдает существование зависимостей между частями предложения, зависимостей, которыми руководствуются носители языка, но лежащих за пределами возможностей для любой грамматики непосредственно составляющих. Вот это и указывает на свойства мыслительных операций человека» [31]. Отметим, однако, что указывая на язык как главную область языкознания в конце семидесятых годов, теоретики в принципе остаются в рамках того подхода (называемого иногда «филологизмом»), при котором выводы о человеческом поведении стремятся получить, исходя не из наблюдений над непосредственными действиями человека, а только исходя из наблюдений над продуктами этих действий.

В середине 1980-х годов с осознанием необходимости изучать челове-

⁵ Под «когнитивной психологией» имелось в виду не только теоретическое направление, «когнитивизм», но и «психология когниции», исследующая механизмы переработки информации.

ческие факторы усиливаются и попытки расширить непосредственную область лингвистики. Например, В. Ингве в 1986 г. задает вопрос: «Может ли лингвистика достичь своей исходной цели стать наукой — или же она должна вернуться в лоно философии и вновь подчинить себя логике и теории знания?» И отвечает: «Языкознание сегодня, как представляется, достигло той точки развития, на какой была физика несколько столетий назад. Старые проблемы по-прежнему преграждают ей путь к идеалам современной науки, они не устранены новыми методами. Объекты исследования в лингвистике..., хотя часто считают, что они обладают своими свойствами только в качестве теоретических конструкторов, тем не менее не имеют соответствий среди реальных объектов реального же мира, на фоне которых теории могут проверяться. Вообще говоря, объекты исследования в иных науках — реальные предметы, в лингвистике же это не так. ...Не будучи предметами, заданными для изучения с лингвистической точки зрения, они на самом деле создаются точкой зрения исследователя» [32, с. 16]. Отсюда можно сделать вывод, что «лингвистика как наука о языке и как „научная дисциплина“ противоречат друг другу, и в перспективе развития языкознания остается только одна возможность — лингвистика в качестве науки о человеке как объясняющем, исходном факторе. Однако и эта постановка проблемы не совместима с тезисом о языке как объекте языкознания» [32, с. 23—30]. Но именно «лингвистика о человеке» представляется В. Ингве, как, впрочем, и многим американским лингвистам в последние годы (даже если они и не декларируют это в заостренном виде), путем к достижению научного идеала, лингвистики как науки. Об этом говорил еще Л. Блумфилд в 1925 г.

Таким образом, «непосредственной целью лингвистического исследования (как и в любой другой науке) является не столько исчерпывающее описание известных фактов, сколько выявление систем фундаментальных принципов, лежащих в их основе» [33].

Итак, «научное языкознание» было лозунгом (целью, к которой призывали) в подготовительный период; в методический период появилась вера в то, что эта цель уже достигнута. Но только в настоящий, теоретизирующий период можно с уверенностью сказать, что языкознание становится наукой, причем гуманитарной наукой, т. е. наукой о человеке.

4. Эволюция взглядов на лингвистическую теорию

Отношение между теорией и материалом, соотносительность гипотез и данных — вопрос, более типичный для «методического», чем для подготовительного периода. Но в конце подготовительного периода уже находим следующее высказывание: «Теория нами рассматривается как развитая окончательно в том случае, если она может охватить все явления, иллюстрируемые собранным материалом. Ценность теории — не только в ее соответствии фактам, но и в том, что она дает общую структуру (регулярные принципы) явлений, которые в ином случае могли бы быть отражены лишь как серия различных, частичных, ограниченных структур (правил и исключений)» [34, с. 3]; и далее: «Ценность фонологической теории прямо пропорциональна сфере ее приложения и обратно пропорциональна ее сложности» [34, с. 10]. Это суждение очень типично для переходной эпохи, когда только намечались пути к методам обнаружения грамматики и ставился вопрос о соответствующей оценке теории. Однако теория приравнивалась к описанию (между прочим, в учебниках математической логики такое понимание термина «теория» стало стандартным), а язык

теории, естественно, должен был стать технологическим языком, т. е. таким, с помощью которого легко можно было бы описывать конкретные манипуляции с языковым материалом. Именно этот взгляд защищал Л. Блумфилд в 1940-е годы [35].

В рамках такой операционалистской постановки проблемы теория как описание складывается из аксиом, теорем и логических переходов от аксиом к сложным положениям. Достоинство такого способа подачи результатов исследования в конце 1940-х годов видели в наглядности: «После того, как наши предположения, иногда не осознаваемые нами ясно, изложены на бумаге, а термины получили определение, мы можем избежать многих бесплодных споров по поводу расхождений в методах. Два лингвиста придут тогда к четкому выводу об общности их постулатов; если же наборы их постулатов различны, они не смогут успешно обсуждать свои расхождения до тех пор, пока не решат вопрос об этих постулатах» [36]. Эта мысль была прямым продолжением блумфилдовской идеи о методе постулатов в языкознании [37].

Взгляд на лингвистическую теорию как на аксиоматическую систему, а вместе с тем и как на основу для описания конкретного языка, при всех перипетиях развития на протяжении долгой истории американского языкознания, дошел и до наших дней: «Универсальная грамматика — это система подтеорий, каждая со своими параметрами варьирования. Конкретный язык (его ядро) определяется тогда как результат фиксации параметров в рамках этих подтеорий» [38]. Там, где Блумфилд и его последователи видели ровно одну теорию-описание, сторонники подхода «принципов и параметров» усматривают иерархию подтеорий, или «модулей». Это естественное развитие фундаментальной идеи — результат многолетних разработок и заслуживает пристального внимания. Заметим, что тридцатью годами раньше на страницах «Language» Хомский [39] писал, возражая Й. Бар-Хиллелу [40]: «Я согласен с тем, что логика может быть использована в языкознании. ...Но правильный путь использования идей и приемов логики состоит в формулировании общей теории структуры языка. Однако это не дает нам еще возможности выяснить, какие виды систем представляют область языкознания и как лингвисты разумно было бы их описывать. Использование логики при построении ясной и строгой лингвистической теории не означает, что логика или любая другая формальная система станет моделью языкового поведения. Я не согласен с тем, что внедрение логических синтаксиса и семантики в лингвистическую теорию якобы решит какие-либо проблемы последней или что теория значения для естественных языков станет яснее в результате конструирования искусственных языков через понятие правил, содержащих в себе слово „синоним“» [39, с. 45]. В середине 1950-х годов это положение свидетельствовало о приближающемся кризисе методического подхода.

Для дескриптивистов в методическую эпоху наибольший интерес представлял сам процесс «обнаружения» систем правил и единиц языка; в более же позднее время на первом плане была уже «работа» этой системы правил (соответствующим образом иерархизированной, как в развитых моделях порождающих грамматик) на основе «лексикона» языковых элементов. В 1970-е годы упорядочение элементов стало привлекать особенное внимание в связи с представлением о хранилище единиц языка как о сложно организованной системе, различные подструктуры которой соотносятся с помощью своих правил — «правил лексикона», — отсюда «теория лексикона» М. Ароноффа [41], теория «лексической фонологии»

М. Халле и его учеников [42] и др. Компромиссом между двумя полюсами интересов — к методике построения, «обнаружения» грамматики, с одной стороны, и к «механизмам работы» уже построенной грамматики, с другой, — являлись на рубеже 1960-х годов концепции типа той, которую находим у П. Гарвина [43]: главным свойством процесса анализа является опора на презумпции о функциях естественного языка как системы знаков и о многоуровневом устройстве системы языка. Сам же процесс анализа огрубленно можно представить как серию итеративных циклов операций обнаружения. Эти операции опираются не только на наблюдения над дистрибуцией элементов в текстах, но и на показания информантов; причем каждый цикл соответствует определенному уровню языка. К началу 1970-х годов стало ясно: если, формулируя правила, вскрывающие системный характер языковой структуры, мы не будем пытаться вскрыть еще и универсальные принципы, с тем чтобы конкретные правила представить как частные проявления этих общих принципов, — то трудно будет всерьез говорить о перспективах создания общелингвистической теории [44].

Итак, компромисс между процедурной и объясняющей лингвистиками, в равной степени представленными на протяжении истории журнала «Language», состоит в том, чтобы ввести в процедуру лингвистического анализа (а соответственно, и в общетеоретическое обоснование такой процедуры) нацеленность не только на строгость и объективность наблюдения, но и на дальнейшую применимость опыта этого анализа для достройки той лингвистической теории, которая выступает «спонсором» самого анализа. Отношения между методом анализа и теорией усложняются, появляется обратная связь. До середины 1970-х годов положение о соответствии (довольно близком к взаимнооднозначному) между конкретным набором аналитических приемов и конкретной лингвистической теорией считалось несомненным⁶. Теперь же это соотношение потеряло свою прозрачность. Если еще в эпоху дескриптивизма идею универсальности можно было извлечь из самой презумпции лингвистического анализа как набора операций, приложимых к каждому языку, то за последние двадцать с лишним лет она получила свое дальнейшее развитие за пределами операционалистского подхода. Сегодня лингвистическая теория может рассматриваться как самостоятельная процедура, ценная сама по себе [7, с. 563—564], а потому она выступает не только в качестве методиста-диктатора, но и в качестве заинтересованной стороны: опыт описания естественных языков с помощью процедур, обоснованных данной теорией, приводит к корректировке самой теории.

5. Один старый спор на страницах журнала «Language»

Почти для всех очерков истории американской лингвистики XX в. традиционным и прямо-таки «реквизитным» стало описание перипетий спора между менталистами и механицистами. Здесь мы ограничимся только несколькими замечаниями: очень глубокий анализ проблемы на материале работ до «теоретического» периода (т. е. до середины 1960-х годов) можно найти в работе [46].

В 1936 г. Л. Блумфилд писал: «Лингвистика в нынешнем своем виде использует только такие термины, которые могут быть переведены на язык физической и биологической наук; этим лингвистика отличается почти

⁶ Это наблюдение хорошо продемонстрировано на материале многих операционалистских теорий языка в работе [45], где подробно описаны и группы аналитических операций, позволяющих классифицировать и дифференцировать такие теории.

от всех других дисциплин о человеке. В последующие годы человечество поймет, что эти термины употребимы во всех науках. Термины, используемые ныне, — типа „сознание“, „мышление“, „восприятие“, идеи и т. п., — словом, терминология ментализма и анимизма — исчезнут, как в свое время сошла со сцены астрономия Птолемея. Они будут заменены до некоторой (меньшей) степени физиологической терминологией, а в большей степени — терминами языкознания » [47, с. 89]. Подтверждение этой гипотезы Блумфилд видел, в частности, в физикализме Венского логического кружка [47, с. 93], с которым он солидаризовался. Подводя философский базис под свой антиментализм, Блумфилд считал, что борется против той концепции, согласно которой «...вариативность человеческого поведения объясняется вмешательством какого-то нефизического фактора — *духа* или *воли* или *рассудка*. . . ., — наличия которого у каждого человека. Дух же, согласно менталистской точке зрения, коренным образом отличается от материальных объектов и, следовательно, подчиняется иному, чем они, видам причинной связи или вообще неподвластен ей» [48]. Однако сам Блумфилд пользовался и указанными терминами, и термином «язык» в обычном понимании, относя его и к материальной, и к духовной, внешне не всегда наблюдаемой, стороне человеческой деятельности.

В предметодический период «антиментализм» был скорее лозунгом; в последующий же период этот лозунг стал и руководством к действию — к практической замене терминов и понятий. В наше время уже пародийно звучит высказывание, которое можно найти на странице журнала «Language» в 1943 г.: «Это чудовище, ментализм, хорошо известное в лингвистических кругах, постоянно поднимает свою уродливую голову. Например, злоупотреблением терминами можно считать тезис о том, что субъектное спряжение в венгерском языке употребляется, „когда личная форма глагола предшествует объекту в предложении или позиционно находится после него или же в сознании говорящего соответствует чему-либо, характеризующему как определенное“. Ведь только на основе рассмотрения „мысли говорящего“ нельзя утверждать, что мы имеем дело с прямым объектом» [49]. Годом позже, чтобы избежать недоразумений, Блумфилд подчеркнул, что задача антименталиста — не избегать терминов ментальности, а скорее стараться не принять за чистую монету существование отдельного фактора сознания в человеческом поведении [50]. Возражая Блумфилду, Л. Шпитцер в том же году [51] указывал, что в лингвистическом исследовании не думать о духовности — все равно что не заниматься орошением полей до тех пор, пока не будет получен анализ понятия «полив». Антименталист, как указывал Л. Шпитцер, должен, по сути, отвергать человеческий опыт, аккумулированный в родном языке. Этот опыт, который столь понятен и нагляден, по капризу «механистов» считается «ненаучным».

В конце 1940-х годов ментализм характеризовался американскими механистами просто как пережиток, в лучшем случае бесплодный, а в худшем — смертельно опасный, когда он проникает в научное исследование; он представлялся как «привычка апеллировать к мышлению и к воле как к готовым путям объяснения всевозможных явлений» [19, с. 93]. Но картина начала меняться с осознанием ценности лингвистической теории как таковой и с отходом чисто методической стороны анализа на второй план. В 1950-е годы, например, именно к достоинствам ментализма стали относить стремление учитывать субъективный фактор в языке [52].

В середине шестидесятых годов, в начале «теоретизирующего» пери-

ода, инициативу на страницах журнала «Language», захватывают антимеханисты, прямо утверждавшие, что не ментализм, а именно «ползучий» эмпиризм (понимаемый как опора только на наблюдаемые физические сущности и игнорирование всего, что не может быть подвергнуто чисто механическим операциям) мешает сделать лингвистику наукой [53]. В семидесятые и восьмидесятые годы ментализм в языкознании получил новые качества [54]: он обрел экспериментальную базу в лице психолингвистики. Разработка программного обеспечения для ЭВМ, позволяющего моделировать владение языком, открыла новый полигон для проверки общетеоретических положений. Наконец, психолингвистические и чисто психологические теории восприятия в приложении к лингвистическому теоретизированию (например, при построении теории языковой интерпретации) явились стартовой площадкой для дальнейших исследований в неоменталистском русле. Ментализм стал опираться и на формальные средства описания [55] — отсюда всевозможные формальные модели, широкий спектр которых особенно характерен для второй половины семидесятых — конца восьмидесятых годов [56].

Таким образом, спор решен в пользу менталистов. Но ментализм в сегодняшней американской лингвистике — далеко не всегда в точности является наследником психологизма науки конца прошлого — начала нашего века, против которого выступали последователи Блумфила⁷.

6. Язык, мышление, знаковость

В 1925 г. А. Вайсс в русле бихевиоризма выразил следующее отношение к проблеме языка: «Язык как форма поведения, посредством которого индивид приспосабливается к социальному окружению, — не то же самое, что язык как средство выражения так называемых субъективных желаний, надежд и чаяний. Как форма поведения язык репрезентирует биологические, физиологические и социальные условия; как средство выражения он предполагает наличие нефизических сил или типов психической энергии, существование которых не было еще адекватно продемонстрировано» [59]. У Вайсса (а эта статья была по существу программой для будущих исследований антименталистов) отношение между языком и реальностью однозначно: реальность управляет языком, язык же дает только описание мира, не творя и не изменяя этого мира.

У Э. Сэпира — иной взгляд: язык дает ключ к «социальной действительности», творимой человеком, и «...предопределяет все наши представления о социальных проблемах и процессах. Люди живут не только в объективном мире, не только в мире социальной деятельности, как это обычно представляют, но во многом находятся во власти конкретного языка, ставшего средством выражения в обществе. Полной иллюзией является считать, будто мы приспосабливаемся к действительности в основном без использования языка и будто язык — просто привходящее средство решать частные проблемы общения или мышления. В действительности же „реальный мир“ в значительной степени бессознательно строится на основе групповых привычек. Никакие два языка не бывают достаточно сходными в такой степени, чтобы репрезентировать одну и ту же социальную действительность. Миры, в которых живут различные общества — это разные миры, а не просто один и тот же мир с разными

⁷ Очерк этого развития в философском аспекте см. в [57]. Еще раньше достоинства и недостатки психологизма и антипсихологизма в рамках философии языка двадцатых годов рассмотрены в книге [58].

этикетками» [22, с. 209]. Итак, язык — это «символический ключ к культуре» [22, с. 210], в первую очередь продукт культуры или общества, и в качестве такового он и должен изучаться [22, с. 214].

Через сорок лет после этого У. Чейф, отражая дух нового времени, определял язык уже как «систему, в которой знаковые структуры, реализованные в человеческом опыте, воплощаются в виде фонологических структур, реализованных в виде звуков. Иные системы коммуникации (у животных) также задают символизацию знаковых единиц посредством фонологических единиц, но эта символизация взаимнооднозначная. Эволюционное же расширение человеческого опыта сопровождалось развитием, в результате которого язык радикально отошел от взаимнооднозначной модели» — таков ход фонологического изменения и формирования идиом. Поэтому можно сказать, что «язык задает первоначальную организацию опыта в рамках глубинной „семологии“, исходной фонологической символизации и набора переходов, приводящих к окончательной фонологической организации речи, проявленной в звуках» [60].

Итак, в шестидесятые годы взгляд на язык как четкую систему знаковых связей уступил место многофакторному представлению. Еще более очевидным, фактически общепринятым, это стало в семидесятые годы; так, по Дж. Хиту [61, с. 90], язык — это высокоструктурированная система (а не неупорядоченный набор элементов), отвечающая основным требованиям коммуникации, диктуемым структурой речевого акта. Такой семиологизирующий подход, как констатирует М. Шапиро [62] в начале восьмидесятых годов, пришел на смену представлениям о языке как о поведении, исключительно подчиненном правилам⁸.

Как же в этот период представляли себе американские исследователи отношение между языком и мыслью? Эта связь — как и все в языке — стала представляться весьма опосредованной. Например, в рамках все той же «семиотической парадигмы», вышедшей на первый план с середины семидесятых годов и не утратившей своих позиций до сегодняшнего дня (особенно ярко эта парадигма проявилась в интересе к интерпретационной стороне речевой деятельности, а также к понятиям пирсовской семиотики, — особенно к прагматике), Дж. Хейман [63, с. 537] защищал следующий взгляд. Структура языка отражает структуру мысли; исследуя язык, мы тем самым открываем окно в мир мышления. Грамматика языка иконична в том смысле, что моделируемые ею процедуры представляют собой нечто очень сходное с процедурами мышления. В свою очередь структура мысли отражает (пусть и не прямолинейно) структуру действительности. Поэтому открываемые и открытые уже универсалии языка в области синтаксиса и семантики следует рассматривать как то, что в конечном итоге отражает свойства мира, а не просто свойства мышления как такового. Тем самым мы возвращаемся к взгляду Б. Рассела, еще в 1940 г. [64] утверждавшего, что «с помощью изучения синтаксиса можно, по крайней мере частично, получить представление о структуре внешнего мира». Однако сегодня этот взгляд наполняется новым содержанием в рамках языкознания.

Говоря об отношениях между речевыми и мыслительными процедурами,

⁸ Увлечение понятием «правило» было в 1960—1970-е годы результатом влияния формализаторских приемов в рамках порождающих грамматик (вопреки предостережениям самого Хомского не путать формальный аппарат описания с действительными механизмами языка и тем более речи). Тогда понятие «правило» пытались распространить на всю творческую деятельность человека, в частности, пытались построить грамматику поэзии, текста и т. п.

мы сталкиваемся со старой проблемой «произвольности» знака. Как подчеркивал советский ученый Т. В. Гамкрелидзе на страницах «Language» в 1974 г. [65], знаки входят не только в «вертикальные» отношения (знак — означаемое), но и в «горизонтальные» (между самими означающими, а также между самими означаемыми); вертикальное и горизонтальное отношения взаимодополнительны в боровском смысле. Схему «мышление — язык — действительность», вырисовывающуюся на сегодняшний день, необходимо поэтому видоизменить, если принять во внимание взаимодополнительность вертикальных и горизонтальных отношений. Это наблюдение, на наш взгляд, может в дальнейшем привести к более сложному представлению о процессах интерпретации текста: по ходу такой интерпретации значение одного знака выводится не только из вертикальных, но и в значительной степени из горизонтальных отношений. Выкристаллизовалась же эта идея в результате многолетних раздумий над ролью языка в организации человеческого опыта. Еще в 1936 г. Б. Л. Уорф писал: «Мы склонны думать о языке как о технике выражения и не осознаем, что язык — это прежде всего классификация и упорядочение потока чувственного опыта; в результате возникает такое упорядочение мира, которое легко выражается с помощью наличных в данном языке средств символизации. Иными словами, язык осуществляет то, чего добивается наука, но делает это более огрубленно, хотя и с большим охватом и более гибко» [66]. Напомним, что Блуфмилд считал язык средством приспособления человека к окружающему миру; в середине 1970-х годов формулируется тезис об обратной связи. Вырисовывается и «экологический» взгляд, который можно увязать с семиологическим подходом: так, Дж. Хилл [67] утверждал, что сам язык приспособляется по ходу развития человечества к новым условиям; развитие языка, в частности, регулируется теми же горизонтальными связями, о которых говорилось в статье Т. В. Гамкрелидзе.

К середине — концу восьмидесятых годов интерпретационно-семиологический подход получает неожиданное развитие в рамках «модульного» взгляда на устройство языка. Модуль определяется (по аналогии с соответствующим понятием в теоретическом программировании) как более или менее независимый компонент, состоящий из процедур, не «вмешивающихся» в «работу» других модулей грамматики (не влияющих, в частности, на порядок использования грамматических правил, входящих в другие компоненты), но взаимодействующих с другими модулями в процессе построения и/или восприятия речи через промежуточные результаты» (скажем, через те или иные синтаксические или семантические репрезентации предложения). Набор модулей аналогичен сотрудничающим людям: несколько строителей не управляют работой мозга своих товарищей по возведению дома, но взаимодействуют с ними в результате того, что в определенное время и в определенной последовательности подвозят и кладут кирпичи в нужное место постепенно растущей конструкции. Модульный подход сформировался в рамках стандартной порождающей модели к середине семидесятых годов. А. Вудбери [68] приравнивает принцип модульности к положению о двойной артикуляции: единицы одного уровня (например, фонологического) не имеют иных функций, кроме комбинирования между собой для образования единиц более высокого уровня (например, уровня слова). Иначе говоря, горизонтальные отношения, регулируемые в рамках одного модуля, аккумулируются, после чего за счет работы другого модуля дают единицы более высокого уровня. В результате эволюционного развития языка происходит такое «приспо-

собление» языка к новым «горизонтальным» условиям, в итоге которого былая иконичность становится все более опосредованной. Сохранение внутренней непротиворечивости в рамках отдельных модулей приводит к потере прозрачности в отношениях между знаком и его означаемым именно потому, что усложняет отношения между модулями (это показывается в статье [69]).

Под иным углом, но в том же семиологическом ключе смотрит на эту проблему Дж. Хейман [63]. Хотя языковые знаки в изолированном виде обладают символичностью, тем не менее система, или грамматика, их соотносящая, может быть иконичной в следующих двух отношениях: а) в результате изоморфизма, когда взаимнооднозначное соответствие имеет тенденцию устанавливаться между означающими и означаемыми, и б) в результате мотивации, когда структура языка прямо отражает некоторый аспект структуры реальности. Это по существу переформулировка положения Уорфа (см. выше). Изоморфизм можно тогда охарактеризовать как отношение, возникающее в результате работы процедур одного и того же модуля, а мотивацию — как результат взаимодействия модулей. Но тогда в общую схему рассмотрения мы должны ввести и модули «освоения действительности».

В конце 1980-х годов идея о том, что языковую деятельность невозможно четко отграничить от неязыковой, становится очень популярной и в теоретическом языкознании, и за его пределами в связи с попытками построить системы искусственного интеллекта. В этом отношении интерес представляет наблюдение, сделанное Дж. Робертсоном [70]: в результате исторического развития символическая система, изначально далеко не полностью использовавшая логические возможности различительности, постепенно все более широко осваивает их. Это развитие в той степени «экологично», в какой не нарушает грани между категориями, а только «заполняет» пространства знаковых отношений, до некоторых пор существовавшие только потенциально («экологические ниши»). Возможно, механика такого заполнения регулируется «постулатами когниции», соотносящими простые и производные когниции между собой [71].

Однако язык не был бы языком, если бы соотносил только элементы внутри сознания одного человека. Середина семидесятых годов, когда пристальное внимание все больше стали привлекать процессы восприятия речи, характеризуется и межличностным подходом к языковому сознанию [72]. В это же время подчеркивалась необходимость установить универсальные механизмы языковой «когниции». Например, по гипотезе «языковой относительности» Сэпира—Уорфа, человеку, кроме его «калейдоскопического потока впечатлений», каждый язык навязывает еще и специфическую (присущую именно данному языку) семантическую структуру. Последние двадцать лет многие лингвисты в США склонны сомневаться в самой относительности семантических структур [73]. Хрестоматийными стали в свое время примеры с варьированием цветообозначений, интерпретируемые сторонниками гипотезы Сэпира — Уорфа как результат давления, оказываемого родным языком на восприятие человека. Сейчас же скорее считают, что именно зрительное восприятие навязывает языку соответствующие категории, ядро которых (как показали Б. Берлин и П. Кей [74]) не меняется от языка к языку, представляя собой универсальную систему, только внешне модифицирующую (не влияя на модуль зрительного восприятия) языковой репертуар терминов цветообозначения. Универсальность языковых свойств, как становится теперь очевиднее, распространяется не только на отношение «язык — говорящий инди-

вид», но и на отношение тройного порядка: «говорящий — язык — интерпретатор». Именно такая постановка проблемы языковых универсалий (универсалий восприятия и интерпретации чужой речи) и характеризует сегодняшнее состояние типологических исследований.

В середине семидесятых годов установление синтаксических универсалий состояло в обнаружении тех или иных ограничений на «работу» конкретного синтаксического правила, а не в объяснении причины такого ограничения [61, с. 89]. Теперь же на констатацию универсалий смотрят как на проявление в языке общечеловеческих когнитивных механизмов, оперирующих в рамках биологически ограниченных человеческих возможностей и ресурсов, — включая ограниченность памяти, восприятия, внимания, скорости реакции и иные естественные для человека ограничения.

Тем самым в конце восьмидесятых годов мы возвращаемся к тому, с чего начался интерес к открытию универсалий в конце 1940-х — начале 1950-х годов. Так, в статье 1948 г., ставшей манифестом для дальнейших разработок в этой области, Б. и Э. Агинские [75] рассматривали универсалии как свойства человеческой культуры, частью которой является язык. Но сейчас истоки этих общих свойств обнаруживаются еще глубже — в самом человеческом познании; культуру, как и язык, при этом относят к важным, но частным проявлениям человеческого интеллекта. Разумеется, поиск универсалий всегда был актуален для лингвистики как научной дисциплины [24, с. 289]. Однако в начале пятидесятих годов развитие исследований в этой области стали связывать с превращением языкознания в самостоятельную науку, построенную на основе логических обобщений и глубокого освоения широкого эмпирического материала. Но когда поиск универсалий языка и их объяснение были объявлены одной из важнейших задач теоретической лингвистики, эта наука получила веские основания претендовать на статус объясняющей, а не только классифицирующей дисциплины. Выделяя универсалии, теперь подчеркивают те принципы, из которых они могут быть логически выведены [76].

Итак, язык как набор компонентов — «модулей», — упорядочивающих речевую деятельность человека, — частично пересекается с внеязыковыми модулями, которые прямо или косвенно сказываются на продуцировании и восприятии речи. Но и языковые модули сказываются на внеречевой деятельности человека. Таков итог, — сформулированный в новых терминах, — размышлений о связях языка и мышления.

7. Некоторые итоги

Мы попытались объяснить многие изменения в научном «климате» журнала «Language» на основе периодизации его истории. Первый, подготовительный период в меньшей степени связан с конкуренцией конкретных методов, чем второй, «методический»; третий же период, названный нами условно «теоретизирующим», характеризуется плюрализмом перспектив в рассмотрении языка. Именно на этом последнем этапе главное внимание лингвисты уделяют интегрированию результатов, полученных с помощью различных методик, в цельную концепцию.

О теории ставили вопрос и в первый, и во второй из названных периодов. Но в первый период речь шла о зачатках будущих теорий, пути построения которых не всегда были ясны. Во второй период это были скорее теории метода, созвучные операционалистской направленности в науке сороковых—пятидесятих годов. Тогда теория призвана была подвести

основания под используемые практические методы и иного предназначения не имела. В третий же период мы наблюдаем синтез этих двух линий. Теория имеет в качестве своего непосредственного объекта человека и его языковую (в частности, речевую) деятельность и развивается теперь не в безвоздушном пространстве чистого размышления, не на основе прямого созерцания языкового материала (что было типично для первого периода). Она не замыкается и на наличных средствах (на методах), как это было на втором этапе. Теоретизирование третьего периода не удовлетворяется рассмотрением продуктов речевой деятельности и даже рассмотрением языка — инструмента, постулируемого как источник речи⁹.

Нынешние теории языка в США точнее было бы назвать теориями языковой когниции, — во всяком случае, такова тенденция, которую мы можем наблюдать, анализируя последние публикации в журнале «Language». Это — сложный пучок проблем, включающий хранение, приобретение и использование языковых знаний, преобразование и освоение человеком внешнего и внутреннего (духовного) миров.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Hymes D., Fought J. American structuralism. The Hague, 1981. P. 22.
2. Степанов Ю. С. В трехмерном пространстве языка: Семiotические проблемы лингвистики, философии, искусства. М., 1985.
3. Bloomfield L. Why a linguistic society? // Language. 1925. V. 1. № 1.
4. Haugen E. Directions in modern linguistics // Language, 1951. V. 27. № 3. P. 211.
5. Haugen E. Half a century of the Linguistic Society // Language. 1974. V. 50. № 4.
6. Newmeyer F. J. Linguistic theory in America. 2nd ed. Orlando, 1986.
7. Cole P. The interface of theory and description // Language. 1976. V. 52. № 3.
8. Brekle H. Einführung in die Geschichte der Sprachwissenschaft. Darmstadt, 1985. S. 3.
9. Hjelmslev L. Sproget: En introduktion. København, 1963. S. 7.
10. Караулов Ю. Н. Эволюция, система и общерусский языковой тип // Русистика сегодня: Язык: Система и ее функционирование. М., 1988. С. 6.
11. Hall R. A., Jr. Linguistic theory in the Italian Renaissance // Language. 1936. V. 12, № 2, P. 96.
12. Staal J. F. A method of linguistic description: The order of consonants according to Pāṇini // Language. 1962. V. 38. № 1. P. 3.
13. Nooten B. A. van. Pāṇini's replacement technique and the active finite verb // Language. 1967. V. 43. № 4. P. 899.
14. Cardona G. Negation in Pāṇini's rules // Language. 1967. V. 43. № 1. P. 34—56.
15. Aarsleff H. The history of linguistics and Professor Chomsky // Language. 1970. V. 46. № 3. P. 571.
16. Aarsleff H. The study of language in England. 1780—1860. Princeton, 1967.
17. Chomsky N. Cartesian linguistics. N. Y., 1966.
18. Swadesh M. Edward Sapir (Obituary) // Language. 1939. V. 15. № 2. P. 133.
19. Bloch B. Leonard Bloomfield (Obituary) // Language. 1949. V. 25. № 2. P. 87—98.
20. Harris Z. // Language. 1951. V. 27. № 3. Rec.: Selected writings of Edward Sapir in language, culture, and personality.
21. Silverstein M. Closing statement // New perspectives in language, culture, and personality: Proc. of the Edward Sapir Centenary Conference (Ottawa, 1—3 October, 1984). Amsterdam; Philadelphia, 1986. P. 594.
22. Sapir E. The status of linguistics as a science // Language. 1929. V. 5. № 4.
23. Hockett Ch. A system of descriptive phonology // Language. 1942. V. 18. № 1.
24. Robins R. H. Noun and verb in universal grammars // Language. 1952. V. 28. № 3. Pt 1.
25. Lenneberg E. H. Cognition in ethnolinguistics // Language. 1953. V. 29. № 4.

⁹ Такое положение было характерно для структурализма в общенаучном смысле, принятом в гуманитарных науках, таких, как теоретическое литературоведение, антропология и т. п. По времени структурализм только частично пересекается с началом теоретизирующего периода.

26. *Lees R. B.* // *Language*, 1957. V. 33. № 3. P. 375. Rec.: Chomsky N. Syntactic structures.
27. *Lehmann W. P.* Subjectivity // *Language*. 1974. V. 50. № 4. P. 627.
28. *Halle M.* Confessio grammatici: The presidential address delivered at the Golden Anniversary Meeting of the Linguistic Society of America in New York, 29 December 1974 // *Language*. 1975. V. 51. № 3. P. 525.
29. *Percival W. K.* The applicability of Kuhn's paradigms to the history of linguistics // *Language*. 1976. V. 52. № 2.
30. *Lakoff R. T.* // *Language*. 1978. V. 54. № 2. P. 392. Rec.: Edelson M. Language and interpretation in psychoanalysis.
31. *Fodor J. D.* Semantics: Theories of meaning in generative grammar. N. Y., 1977. P. 103.
32. *Yngve V. H.* Linguistics as a science. Bloomington, 1986.
33. *O'Grady W.* Principles of grammar and learning. Chicago; London, 1987. P. XI.
34. *Swadesh M., Voegelin C. F.* A problem in morphological alternation // *Language*. 1939. V. 15, № 1.
35. *Bloomfield L.* Twenty-one year of the Linguistic Society // *Language*. 1946. V. 22. № 1. P. 3.
36. *Bloch B.* A set of postulates for phonemic analysis // *Language*. 1948. V. 24. № 1. P. 5.
37. *Bloomfield L.* A set of postulates for the science of Language // *Language*. 1926. V. 2. P. 143—144.
38. *Chomsky N.* Barriers. Cambridge (Mass.), 1986. P. 2.
39. *Chomsky N.* Logical syntax and semantics: Their Linguistic relevance // *Language*. 1955. V. 31. № 1. pt 1.
40. *Bar-Hillel Y.* Indexical expressions // *Mind*. 1954. V. 63.
41. *Aronoff M.* Contextuals // *Language*. 1980. V. 56. № 4.
42. *Halle M., Mohanan K. P.* Segmental phonology of modern English // *Linguistic inquiry*. 1985. V. 16. № 1.
43. *Garvin P.* Computer participation in linguistic research // *Language*. 1962. V. 38. № 4.
44. *Shapiro M.* Explorations into markedness // *Language*. 1972. V. 48. № 2. P. 343.
45. *Степанов Ю. С.* Методы и принципы современной лингвистики. М., 1975. С. 14.
46. *Арутюнова Н. Д., Климов Г. А., Кубрякова Е. С.* Американский структурализм. // Основные направления структурализма. М., 1964.
47. *Bloomfield L.* Language or ideas? // *Language*. 1936. V. 12. № 2.
48. *Блумфилд Л.* Язык. М., 1968. С. 47.
49. *Sebeok T.* // *Language*. 1943. V. 19. № 2. P. 196. Rec.: Tihany L. C. A modern Hungarian grammar.
50. *Bloomfield L.* Secondary and tertiary responses to language // *Language*. 1944. V. 20. № 1. P. 52—53.
51. *Spitzer L.* Answer to Mr. Bloomfield // *Language*. 1944. V. 20. № 4.
52. *Hatcher A. G.* Syntax and the sentence // *Word*. 1956. V. 12.
53. *Katz J. J.* Mentalism in linguistics // *Language*. 1964. V. 40. № 2. P. 126.
54. *Fodor J. A., Bever T. G., Garrett M. G.* The psychology of language: An introduction to psycholinguistics and generative grammar. N. Y., 1974.
55. *Звегинцев В. А.* Предложение и его отношение к языку и речи. М., 1976. С. 63.
56. *Демьянков В. З.* Специальные теории интерпретаций в вычислительной лингвистике. М., 1988.
57. *Auwera J. van der.* Language and logic: A speculative and condition-theoretic study. Amsterdam; Philadelphia, 1985.
58. *Волошинов В. Н.* Марксизм и философия языка: Основные проблемы социологического метода в науке о языке. Л., 1929. С. 41—50.
59. *Weiss A. P.* Linguistics and philosophy // *Language*. 1925. V. 1. № 2. P. 52.
60. *Chafe W.* Language and symbolization // *Language*. 1967. V. 43. № 1. P. 57.
61. *Heath J.* Some functional relationships in grammar // *Language*. 1975. V. 51. № 1.
62. *Shapiro M.* Russian conjugation: Theory and hermeneutic // *Language*. 1980. V. 56. № 1. P. 67.
63. *Haiman J.* The iconicity of grammar: Isomorphism and motivation // *Language*. 1980. V. 56. № 3.
64. *Russell B.* An inquiry into meaning and truth; The William James lectures for 1940 delivered at Harvard University. L., 1940.
65. *Gamkrelidze T. V.* The problem of 'l'arbitriare du signe' // *Language*. 1974. V. 50. № 1. P. 102.
66. *Whorf B. L.* The punctual and segmentative aspects of verbs in Hopi // *Language*. 1936. V. 12. № 11. P. 130.

67. *Hill J. H.* Possible continuity theories of language // *Language*. 1974. V. 50. № 1. P. 134.
68. *Woodbury A. C.* Meaningful phonological processes: A consideration of Central Alaskan Yupik Eskimo prosody // *Language*. 1987. V. 63. № 4. P. 685.
69. *Frishberg N.* Arbitrariness and iconicity: Historical change in American sign language // *Language*. 1975. V. 51. № 3. P. 696.
70. *Robertson J.* From symbol to icon: The evolution of the pronominal system from Common Mayan to Modern Yucatecan // *Language*. 1983. V. 59. № 3. P. 529.
71. *Osgood Ch., Richards M. M.* From Yang and Yin to *and* or *but* // *Language*. 1973. V. 49. № 2.
72. *Chafe W.* Language and consciousness // *Language*. 1974. V. 50. № 1. P. 111.
73. *Kay P., McDaniel Ch. K.* The linguistic significance of the meanings of basic color terms // *Language*. 1978. V. 54. № 3. P. 610.
74. *Berlin B., Kay P.* Basic color terms, their universality and evolution. Berkeley; Los Angeles, 1969.
75. *Aginsky B., Aginsky E.* The importance of language universals // *Word*. 1948. V. 4.
76. *Greenberg J. H.* Synchronic and diachronic universals in phonology // *Language*. 1966. V. 42. № 3. P. 511.